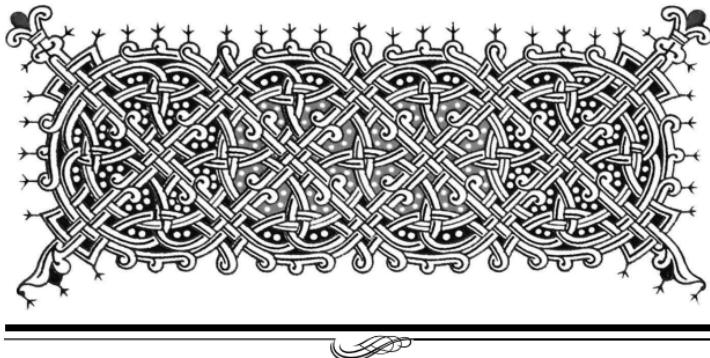






**ОБ НОВЕ  
МНОГОМУЧЕНИКЕ**





— ... **А** с Пучежа ехано вверх на Юрьевец, и  
ехали долго, два дня и еще полдня,  
яко дорога от нехожести вся заросла бурьянами.  
А поля в той стороне тож все неуbraneы, деревни  
пусты, и не встретилось нам за все за два с полу-  
виною дня ни единого жива человека. А и Юрь-  
евец, когда доехали, тож стоит запущен. Домы  
есть, а людей нету, а которые есть — лежат в дó-  
мах мертвы, и на улицах тож лежат, и смрад великий, ибо от сыпного того поветрия, как я уже  
сказывал, люди покрываются гнойными язвами и заживо тлеют, а когда издохнут, не жрет  
их ни зверь, ни птица — брезгуют...

Голос у Федорца скрипучий, дребезгливый,  
нудный. Будто всверливаются в самый мозг с

двух сторон. Ох голова моя, головушка! Ох мука мучительская! Страдал ли кто когда такими страданьями, яко аз, несчастный? Чтоб с самого утра в глазах от дневного света резь, и всяк запах уксусен, и всяк звук мерзостен, и чтоб тошило, да не проташнивало? Лежать не улежишь, стоять не устоишь. Выехал верхий в поля — лицо ветром обдуть, но в седле тряско, от коня несет кислым потом, копыта по грязи чавкают, словно кто прямо в уши натолкал бумагу и там ее комкает, комкает... А еще Федорца слушай. Идет, терзатель, у конского бока, заглядывает в свою берестянную запись и нудит, нудит.

За что столь жестоко караешь меня, Господи? И головной дневною мукою, и бессонным ночных метанием, и изжогою адовой, и брюшным запором — шестой день живу не опростан, нутро — яко глыба каменна! Еще вот и людишки по всей волжской стороне перемерли, и кто будет сеять хлеб, платить подати?

Да что вопрошать? Ведаю, ведаю, чем я Тебя прогневал. Пес я смердящий, во тьме гордости, невоздержания и всякого злодейства заблудший, Гелиогабала мерзостями своими затмивший. Поделом мне все Твои казни, и даже мало. Поэтому и не ропщу, принимаю кару Твою со смиренiem.

— ...И так ехано по волжскому по берегу до Елнать-реки, и нигде никого живого не встреченено. Вся тамошняя земля от мора стоит пуста. Пашни брошены, скотину бессмотренну пожрали волки, а люди все по воле Божьей примерли. А за Елнать-рекой, как было велено, переправились мы на заволжскую сторону, стали там смотреть. И в Заволжье мора нету, но случилась там иная напасть, доселе невиданная. Во августе во месяце, когда скоро жито жать, вышла из лесов на поля малая мышь, бесчисленными сонмищами. И, сказывают, стала вся земля от края до края от мыши сера и шевелиста, ибо ползла та мелкая тварь сплошной сплошнотой, и пожирала всякую травинку и всякий колос, и остановить ее не было мочи. Так ползла она день и еще день, обгладала все жито до корешка, и сошла в Волгу, и перетопла, а людишки все разошлись неведомо куда, ради гладной нужи спасения, чтоб пустобрюхи не помереть, но никто не спасся, ибо хлеба не было нигде. Которые на правый берег переплыли — померли от сыпного мора. Которые убегли в леса — тех порезали лесные язычники. И ныне на Волге безлюдно, что по той стороне, что по этой...

Неужто я хуже фараона, Господи? На него ты насыпал жаб, кои излезозша из вод и покрыша

землю Египетскую, но не карал мышью всепожирающей. Что жабы? Поквакали да сгинули, а пустые бесколосные поля, бестравные луга — случалась ли на земле кара страшнее? И голова болит, голова...

— ...А в Быкове-городце встретился нам только один человек, и тот был безумный. Кричал про тебя непотребное, и за то убили мы его до смерти, так что и в Быкове ныне никого нет. Только в городе в Костроме, переправившись обратно, видали мы малое количество живых. Из прежних шести тыщ остались после мора сто двадцать человек, горько плакая и не зная, чем зиму зимовать...

Умолкни, палач! «Зззиму ззимовать» — как спицей раскаленной в висок! Яко у многомученика Иова всякий вздох мой тягостен, всякий миг исполнен яда!

И вдруг является мне видение. Будто возношусь я в небо, под облака, и вижу оттуда всю Русскую землю. Города в ней — как муравейники, села — как серые пятнышки. И копошатся там букашки-муравьишки, без толку и смысла, и пищат писклявыми голосишками. Всё-то жалуются, за животишки свои боятся, перебирают кто меж ними жив, а кто помер, и плачут, плачут, а многие и ропщут.

Эх вы, букахи малые, неблагодарные! Эх вы, сироты неразумные! Не понимаете, что мною одним живы. Вот сжалится надо мною Господь, приберет меня многогрешного, и вам всем тоже конец. Давно мне это открылось, только не говорю вам, вас же жалеючи: меня не станет, и света не станет. Будет Страшный Суд. То-то взвоете! А ведь есть средь вас, глупых дураков, такие, кто моей смерти желает. Вчера близ Слободы еще двоих с ножами взяли. Ныне воскресенье, день Божий, и расспрашивать их грех. Завтра спознаем, кем посланы...

Поднимаемся на малый холм, откуда видно всю Слободу, освещенную позднеполуденным осенним солнцем.

Вот он предо мною, мой Град Небесный. Конечно, не тот, из Откровения, у коего стена из яписа, а сам он чистое золото и стекло (тому быть рано, и не мне, убогому, его строить), а все же мой град — лучший из возможных на сирой земле.

На Слободу всегда смотреть утешительно, но ныне от муки телесной, от терзания души, от дурных вестей и это милое зрелище не в радость.

А Федорец все вкручивает, все всверливает, все каркает.

— ...Пуста стоит твоя земля, государь. Орать ее некому, дани собирать не с кого, нигде хлеба краюхи не сыскать. Весь край тот бескровленный...

Каррр, каррр, каррр!

Нет больше мочи слушать! Заткнуть, заткнуть ворона!

У меня в очах, и без того смутных, густеет, чернеет лютая ярость, рука сама выдергивает из-за пояса татарский кинжал. Перегибаюсь с седла, хватаю Федорца левой рукой за темя и вонзаю клинок прямо в поганую пасть — по рукоятку, с красными брызгами и зубными осколками.

— Кляп те в грызло, ворон!

От собственного крика в голове будто взрывается пороховая мина — и я хрюплю от боли.

Федорец тоже хрюпит. Глазные яблоки у него выпучиваются, опускаются зраками книзу — на выросший из-под носа дивный рог, ибо у кинжала рукоять резного турьего рога, обвитая златою нитью.

Ишь, удивился!

Малость похрипев, Федорец булькает, а глаза закатывает под самый лоб — и до того его рожа

---

---

**ОБ НОВЕ МНОГОМУЧЕННИКЕ**

---

---

потешна, что мой гневный рык переходит в хотот. Я смеюсь, не могу остановиться, и эта тряска, эта судорога вытягивает из меня всю силу, так что не усидеть в седле.

Машу рукой: стелите, стелите!

Привычные слуги принимают меня, трясущегося, на руки, мягко кладут на разложенный тюфяк — он всегда приторочен на крупе у ближнегорынды.

Уже на земле, под собольей полостью, я еще какое-то время сотрясаюсь, глядя вверх, на высокое, прекрасное, грозное небо. Туда, туда стремится измученная душа моя, а обрыдлое тело пусть бы себе осталось на земле...

На краткий миг я закрываю очи, а когда открываю их вновь, то я уже не здесь, не на холме, где тревожно галдят слуги и воет октябрьский ветер, а в мире ином, беззвучно тихом.

